
С. А. Фомичев
(Санкт-Петербург, Россия)

КРЫМСКАЯ КОЛЫБЕЛЬ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

В Крыму Пушкин провел всего один месяц. Но дни эти стали для него поистине подарком судьбы. Возвратившись из путешествия, он писал брату: «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, — счастливое, полуденное небо; прелестный край — горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского» (XIII, 19).

Важно понять, что поездка в Крым еще в Петербурге, перед ссылкой, была изначально запланирована и (вероятно, по ходатайству знаменитого генерала) властями разрешена. 7 мая 1820 г. почт-директор К. Я. Булгаков сообщал в Москву: «Пушкин-поэт, поэтов племянник, вчера уехал в Крым». О том же писал и Н. М. Карамзин: «Пушкин <...> благополучно поехал в Крым месяцев на пять»; «дозволили ему ехать в Крым»¹. А потому из Екатеринославля, где его нагнали Раевские, ссыльный юноша отправился в древнюю Тавриду после долгого ожидания заманчивых впечатлений. Отсюда — обилие связанных с Крымом замыслов, большинство из которых осталось в черновых набросках.

Завершено же было — и то в разные годы — всего несколько стихотворений и поэма «Бахчисарайский фонтан», которую, однако, автор обычно называл «бессвязными отрывками». «Вот тебе, милый и почтенный Асмодей, — писал он 4 ноября 1823 г. П. А. Вяземскому, — последняя моя поэма. Я выбросил то, что цензура выбросила б и без меня, и то, что не хотел выставлять перед публикою. Если эти бессвязные отрывки покажутся тебе достойными тиснения, то напечатай, да сделай милость, не уступай этой суке цензуре, отгрызайся за каждый стих и загрызи ее, если возможно, в мое воспоминание. Кроме тебя у меня там нет покровителей; еще просьба: припиши к „Бахчисараю“ предисловие или послесловие, если не ради меня, то ради твоей похотливой Минервы, Софьи Киселевой; прилагаю при сем полицейское послание, яко материал; почерпни из него сведения (разумеется, умолчав об источнике)» (XIII, 73).

«Полицейским посланием» Пушкин, вероятно, называет записку (справку), которая могла быть составлена, по его просьбе, в Одессе С. С. Киселевой (урожд. Потоцкая) о героине семейной легенды.

«Предание, известное в Крыму и поныне, — укажет Вяземский в предисловии к поэме, — служит основанием поэме. Рассказывают, что хан Керим Гирей похитил красавицу Потоцкую и содержал ее в бахчисарайском гареме; полагают даже, что он был обвенчан с нею. Предание сие сомнительно, и г. Муравьев-Апостол в *Путешествии* своем по *Тавриде*, недавно изданном, восстает, и, кажется, вполне основательно, против вероятия сего рассказа. Как бы то ни было — сие предание есть достояние поэзии»². Что же касается авторского определения поэмы как «бессвязных отрывков», то здесь следует вспомнить о поэме «Таврида», черновики которой сохранились во Второй кишиневской тетради (ПД 832). Открывалась эта поэма и в самом деле «любственным бредом» и размышлениями о бессмертии, чуждыми религиозной ортодоксальности (а потому и неподцензурными). Отметим, что эти рассуждения полемично перекликаются с некоторыми строками державинской оды «Бог»:

А я перед Тобой — ничто.
Ничто! — Но Ты во мне сияшь
Величием своих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! — Но жизнь я ощущую
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты <...>

Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну проходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился
Отец! — в бессмертие Твое.³

Ср. в пушкинской «Тавриде»:

Ты, сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого,
Ничтожество! Пустой призрак,
Не жажду твоего покрова <.. .>
Конечно, дух бессмертен мой,
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне будет мир земной?
Ужели там, где все блистает
Нетленной славой и красотой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутной жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?..⁴

Замысел «Тавриды» остался невоплощенным, вернее, был ограничен лишь одним из эпизодов: лирической интерпретацией предания о любви крымского хана к польской княжне, «перерождением (если не просветлением), — по определению В. Г. Белинского, — дикой души через высокое чувство любви»⁵.

В творческой лаборатории Пушкина, однако, ничто бесследно не пропадало.

Внимание исследователей давно привлекало признание поэта в одном из последних его писем, которое было 10 ноября 1836 г. отправлено в Артек князю Н. Б. Голицыну: «Как я завидую вашему прекрасному крымскому климату: письмо ваше разбудило во мне *множество воспоминаний всякого рода*. Там колыбель моего „Онегина“, и вы, конечно, узнали *некоторых лиц*» (XVI, 184; подл. по-франц., курсив наш. — С. Ф.).

Казалось бы, собственно крымских строк в романе не так уж и много: всего неполных три строфы (написанных в 1829 г.) в «Путешествии Онегина»:

Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И посреди прибрежных скал
Свою Литву воспоминал.

Прекрасны вы, берега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснилась пламенная грудь!
Но, Муза! прошлое забудь.

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне — теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...

Но подспудно крымские воспоминания то и дело оживали в черновиках первых глав романа⁶. Так, при работе над строфой «Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей...», Пушкин в Первой масонской тетради (ПД 834, л. 18)⁷ по памяти делает зарисовку Золотых ворот Карадага, а рядом воспроизводит бесовские сцены, что свидетельствует о знакомстве поэта с местной легендой, связанной с морской скалой (местное название ее — Шайтан-капу) как преддверие ада. Рисунки эти, с одной стороны, соответствуют демоническому колориту строфы, а с другой — соотносятся с набросками ранней «адской поэмы» Пушкина⁸, которые также едва ли не отложились от замысла «Тавриды». Во Второй масонской тетради (ПД 835, л. 5), где велась работа над третьей главой романа в стихах, вдруг появляются крымские названия: «Ак-мечеть, Сеюн-бору, Сеюн-мирза», а несколькими страницами далее (л. 138) начинается черновая работа над стихотворением «Виноград» («Не стану я жалеть о розах...»), в котором оживали крымские впечатления.

В творческой истории романа в стихах давно отмечена одна странная аномалия: до нас не дошло общего плана этого произведения. Казалось бы, такой план непременно должен был быть. Иначе как удалось автору, посвятившему работе над романом долгие годы, прерывавшему ее неоднократно на длительные сроки и отвлекавшемуся на множество других замыслов, не потерять из виду общую перспективу повествования, свести концы с концами?

Известно ведь, что Пушкин предварительно обдумывал планы своих произведений, как правило, очень тщательно. Но все же фиксированный конспект замысла подчас ему не был нужен. Не дошли до нас — едва ли случайно — первоначальные планы его произведений, восходящих к избранным им литературным образцам («Русалка», «Анджело», «Сказка о золотом петушке» и т. п.): необходимые изменения в сюжетных коллизиях здесь намечались, очевидно, уже при чтении чужого произведения или в свободном процессе его переработки.

Вспомним теперь, что существует давно обратившее на себя внимание противоречие в пушкинских оценках своего романа в стихах. «Что касается моих занятий, — сообщал он Вяземскому 4 ноября 1823 г., уже написав первую онегинскую главу, — я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница! В роде Дон-Жуана — о печати и думать нечего; пишу спустя рукава» (XIII, 73). А спустя полтора года он решительно возражал А. А. Бестужеву по поводу той же первой главы: «Ты сравниваешь первую главу с Д<он>-Ж<уаном>. Никто более меня не уважает Д<он>-Жуана (первые 5 песен, других не читал), но в нем ничего нет общего с Онег<иным>. Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня таковой же! Нет, душа моя, многого хочешь. Где у меня сатира? О ней и помина нет в Ев<гении> Он<егине>. У меня бы затрещала бы набережная, если б я коснулся са-

тиры. — Самое слово сатирический не должно находиться в предисловии. Дождись других песен... Ах! Если бы тебя заманить в Михайловское!... ты увидишь, что если уж и сравнивать Онегина с Дон-Жуаном, то разве в одном отношении: кто милее и прелестнее (gracieuse) — Татьяна или Юлия? 1-ая песнь быстрое введение, и я им доволен (что редко со мною случается)...» (XIII, 155)

«Долгий» рассказ был начат еще в Кишиневе в 1823 г.⁹ 13 января ссыльный поэт обратился с официальным отношением к графу Несельроде, министру иностранных дел, по ведомству которого он числился со времени окончания Лицея: «Граф. Будучи причислен по повелению Его Величества к Его Превосходительству бессарабскому Генерал-губернатору, я не могу без особого разрешения приехать в Петербург, куда призывают меня дела моего семейства, с коим я не виделся уже три года. Осмеливаюсь обратиться к Вашему Превосходительству с ходатайством о предоставлении мне отпуска на два или три месяца...» (подл. по-франц. — XIII, 55). Как раз через три месяца до Пушкина, однако, доходит весть, что прошение его высочайше одобрено не было, о чем поэт сообщал 5 апреля Вяземскому: «Мои надежды не сбылись: мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни в Петербург». Между прочим, в том же письме читаем: «Говорят, что Чедаев едет за границу — давно бы так; но мне жаль из эгоизма — любимая моя надежда была с ним путешествовать — теперь Бог знает, когда свидимся» (XIII, 61). Среди байроновских реминисценций (а их здесь немало) в первой онегинской главе появляется следующая:

«...Сладко слушать в полночь среди синих и освещенных луною волн Адриатики пение гондольера и удары его весел, смягченные отдалением; сладко смотреть на восхождение вечерней звезды, сладко любоваться в выси на радугу, выступающую из океана и охватывающую небо»¹⁰.

Эта строфа, написанная в Бренте, рождает отклик в пушкинском романе:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии золотой
Я негой наслажусь на воле
С венецианкой молодой,
Плывя в таинственной гандоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

Начатый в третью годовщину ссылки, роман, по-видимому, осмыслился Пушкиным как своеобразный прогноз. В первой главе, отнесенной (по календарю романа) к 1819 г., можно отметить некий психологический анахронизм. Пушкин здесь утверждает, что мысль побега за границу возникла у него еще в Петербурге, до ссылки. Но на самом деле было иначе¹¹. Лишь в Кишиневе, сделав попытку возвратиться в столицу и получив отказ, поэт всерьез начинает обдумывать возможность побега из России. Он понимает, что для осуществления такого замысла необходимо время. И потому начинает свой роман без предварительного плана, так как сюжет произведения должен был сложиться в ходе осуществления жизненных надежд. Первое же фабульное приключение герой должен был пока пережить на родине. Так обстояло дело и в «Дон Жуане», да и в этом романе Пушкин мог почерпнуть мотив, который ему предстояло самостоятельно развить: «Сладко наследство, и еще слаще нежданная смерть какой-нибудь старухи или старика, которым перевалило за семьдесят и которые заставляли нас, „молодежь“, ждать... ждать слишком долго их поместья, капиталы или замка»¹².

Еще не подозревая о грядущей собственной ссылке в деревню, автор заметит:

Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены

(VI, 27)

обрисовывая во второй главе обстановку поместной жизни Онегина, но не теряя из виду основной цели на ближайшее будущее. Уже перебравшись в Одессу, он обдумывает в январе 1824 г.: «Осталось одно — писать прямо на его имя — такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости, не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится нестерпимо» (XIII, 85—86).

О том же замысле Пушкин вспоминал, прощаясь с Одессой в июле 1824 г., в стихотворении «К морю»:

Не удалось навек оставить
Мне скучный неподвижный берег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направит
Мой поэтический побег.

(II, 332.

Курсив наш. — С. Ф.)

Прослеживая возникновение мысли Пушкина о побеге за границу, М. А. Цявловский так оценивает это стихотворение: «Не только любовь к женщине не позволила Пушкину осуществить „поэтический побег“. Была и другая причина — прозаическая — безденежье, в котором он пребывал в Одессе. „Живя поэтом — без дров зимой, без дровжек летом“, мог ли Пушкин серьезно думать о путешествии в Италию

(XLIX строфа 1 главы „Евгения Онегина“), Константинополь (письмо к брату), Африку (L строфа 1 главы „Евгения Онегина“)? Все это были романтические мечты, отголоски увлечения Байроном»¹³.

Серьезность намерений Пушкина в одесский период жизни здесь поставлена под сомнение, и тем самым «отголоски увлечения Байроном» не связываются с движением замысла романа «Евгений Онегин». А между тем точное пушкинское определение «*поэтический побег*», думается, впрямую связано с первоначальным планом романа в стихах, действие которого предполагалось перенести на просторы мира.

Надежда на это долго не оставляла Пушкина во время работы над «самым задушевным» произведением. Впервые же мысль о «поэтическом побеге» у него возникла в Крыму:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальним
 По грозной прихоти обманчивых морей,
 Но только не к брегам печальным
 Туманной родины моей...

 Искатель новых впечатлений,
 Я вас бежал отчески края;
 Я вас бежал, питомцы наслаждений,
 Минутной младости минутные друзья...

(II, 146—147)

Достаточно сравнить эти строки со строфами XLIX—LI первой главы романа, чтобы обнаружить в них зерно того же замысла («колыбели Онегина»). Уподобление же Крыма «Авзонии счастливой» было издавна принято в русской литературе.

Впрочем, онегинская «колыбель» имеет и другое, достаточно неожиданное, графическое обозначение: формулу оригинальной «онегинской» строфы на титуле черновика поэмы «Таврида» (ПД 832, л. 13). Очевидно, начав писать поэму стихами со свободными рифмовками, Пушкин вскоре почувствовал необходимость строгой метрической формы обширного, по замыслу, повествования, и именно тогда начал перерабатывать один из фрагментов текста «Тавриды» изобретенной строфой¹⁴.

Впоследствии эта строфа будет окончательно прописана 13 июня 1825 г., в письме к брату (ПД 1261, л. 33), который следил за публикацией первой главы романа. Потому и считалось, что, обрабатывая ранние «крымские» строки по онегинскому строфическому канону, Пушкин на титуле поэмы «Таврида» записал, будто бы уже в Михайловском, формулу строфы для собственного контроля. Но это совершенно невероятное допущение! В 1825 г., во время работы над третьей главой романа, автору незачем было себя «контролировать». Другое дело — тогда, когда только что изобретенная (первоначально для «Тавриды») строфа была еще для Пушкина непривычна. В ту пору она так и не пригодилась. Лишь начиная работу над «Евгением Онеги-

ным», Пушкин вспомнил свой прежний строфический опыт и с самого начала черновой работы над романом уверенно им воспользовался, укладывая в «таврическую» строфическую «колыбель» свой свободный роман.

А кого, как предполагал Пушкин, должен был узнать крымский старожил, князь Гагарин, в действующих лицах романа? Об этом тоже можно догадаться.

В главном герое, как уже давно отмечалось в пушкиноведении¹⁵, отразились черты «спутника странного», «демона», Александра Раевского. Ленский же чем-то напоминал юного Пушкина. Публикуя первую главу романа, автор предварил ее стихотворением «Разговор книгопродавца с поэтом», где признавался:

Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья,
Бывало, лиру призывал...¹⁶

Так же, наверное, звучала и лира Ленского, певца «златых дней своей весны». Но недаром Пушкин вспоминает «приюты скал» — несомненно, крымских. И это, в свою очередь, помогает угадать прототип еще одной из героинь романа.

Она мечтательной тенью проходит в лирических излияниях автора в первой главе... Это та девушка, за которой некогда юный поэт шел «по наклону гор» (не Аю-дага ли?) «дорогой неизвестной»... Та, которая пробудила у поэта зависть к волнам, ложившимся с любовью к ее ногам... Та «дева юная», которая в Крыму вечернюю звезду «именем своим подругам называла»...

Во всех этих строках запечатлена самая очаровательная из трех дочерей генерала Раевского — Екатерина («гордой девы идеал»).

Роман в стихах далеко отошел от раннего замысла крымской поэмы. Но нельзя не заметить, что и в нем — в итоге — восторжествовала мысль о просветлении демонической души через высокое чувство любви.

Примечания

¹ Летопись жизни и творчества Александра Пушкина: В 4 т. М., 1999. Т. 1. С. 182, 184, 190. Примерно в течение пяти месяцев поэт действительно путешествовал с семьей Раевских.

² Пушкин в прижизненной критике: 1820—1827. СПб., 2001. С. 155. И. М. Муравьев-Апостол о венчании хана на Потоцкой, конечно же, не упоминал, но такое сведение характерно именно для семейной легенды.

³ Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 115—116.

⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., С. 103—104. В Малом академическом издании текст «Тавриды» воспроизведен более корректно, нежели в Боль-

шом. Отметим попутно, что в «Вакхической песне» (написанной в Михайловском) откликнутся, по контрасту, следующие строки «Тавриды»:

Один, один остался я.
 Пирры, любовницы, друзья
 Исчезли с легкими мечтами,
 Померкла молодость моя
 С ее неверными дарами.
 Так свечи, долгу ночь горев
 Для резвых юношей и дев,
 В конце безумных пирований
 Бледнеют пред лучами дня.

(Там же. С. 105)

⁵ Белинский В. г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 7. С. 380.

⁶ См.: Тархов А. Е., Джунь В. «Там колыбель моего Онегина...» // Болдинские чтения: [1981]. Горький, 1982.

⁷ См.: Пушкин А. С. Рабочие тетради: [В 8 т.] СПб.; Лондон, 1996. Т. 4.

⁸ О подспудном отражении замысла «адской поэмы» в «Евгении Онегине» см.: Ошоват Л. С. «Влюбленный бес». Замысел и его трансформация в творчестве Пушкина 1821—1831 гг. // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1986. Т. 12. С. 183—199.

⁹ Пушкину обещали некогда, что его изгнание продлится не более двух лет.

¹⁰ Байрон Дж. Г. Полн. собр. соч.: [В 6 т.]. СПб., 1894. Т. 5. С. 26.

¹¹ «Встречающиеся в литературе, — утверждает Ю. Дружников, — мысли о том, что желание выехать за границу возникает у Пушкина лишь в ссылке, не соответствует истине» (Дружников Ю. Узник России. По следам неизвестного Пушкина. Коннектиут, 1992. С. 37). Автор произвольно трактует сообщение Пушкина (при знакомстве с П. К. Катениным летом 1817 г.) о том, что «он вскоре отъезжает в чужие края» (см.: Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. СПб., 1998. Т. 1. С. 180). Но хорошо известно, что под «чужими краями» здесь имелось в виду Михайловское, которое поэт действительно впервые посетил после окончания Лицея.

¹² Байрон Дж. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 27.

¹³ Цявловский М. А. Тоска по чужбине у Пушкина // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 132.

¹⁴ «Онегинская строфа» фактически варьировала традиционную одическую строфу (см. об этом: Фомичев С. А. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986. С. 155—156; Никишов Ю. М. Онегинская строфа: источник и поэтика // Филологические науки. 1992. № 2. С. 11—19.). В этой связи вспомним указанное выше отражение мотивов державинской оды «Бог» в поэме «Таврида». «Предонегинская» строфа «Я помню море пред грозой...», казалось бы, далека от метафизических рассуждений, но в ней (в ином ключе) тоже можно заметить «державинское начало» — поэтически преображенный отклик («Как я желал тогда...») на песню «Я птичкой быть желаю...», некогда Пушкиным скабрёзно обыгранной в сказке о царе Никите.

¹⁵ См.: Лакшин В. Я. Спутник странный // Лакшин В. Я. Биография книги: Статьи, исследования, эссе. М., 1979.

¹⁶ Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман в стихах. СПб., 1825. С. XII.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)
ФОНД РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ СВЯЗЕЙ
«МОСКВА—КРЫМ»

ПУШКИН И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

Материалы шестой Международной конференции

Крым, 27 мая—1 июня 2002 г.

Санкт-Петербург,
Симферополь,
2003